



Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе!
Штыками и картечью проложим путь себе...
Чтоб труд владыкой мира стал
И всех в одну семью спаял,
В бой, молодая гвардия рабочих и крестьян!

Песня молодежи

ГЛАВА I

— Нет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! Прелесть... Точно изваяние, — но из какого чудесного материала! Ведь она не мраморная, не алебастровая, а живая, но какая холодная! И какая тонкая, нежная работа, — человеческие руки никогда бы так не сумели. Смотри, как она покоится на воде, чистая, строгая, равнодушная... А это ее отражение в воде, — даже трудно сказать, какая из них прекрасней, — а краски? Смотри, смотри, ведь она не белая, то есть она белая, но сколько оттенков — желтоватых, розоватых, каких-то небесных, а внутри, с этой влагой, она жемчужная, просто ослепительная, — у людей таких и красок и названий-то нет!..

Так говорила, высунувшись из ивового куста на речку, девушка с черными волнистыми косами, в яркой белой кофточке и с такими прекрасными, раскрывшимися от внезапно хлынувшего из них сильного света, повлажневшими черными глазами, что сама она походила на эту лилию, отразившуюся в темной воде.

— Нашла время любоваться! И чудная ты, Уля, ей-богу! — отвечала ей другая девушка, Валя, вслед за ней высунувшая на речку чуть скуластое и чуть курносенькое, но — очень миловидное свежей своей молодостью и добротой лицо. И, не взглянув на лилию, беспокойно

поискала взглядом по берегу девушек, от которых они отбились. — Ау!..

— Ау... ау... у-у!.. — отозвались на разные голоса совсем рядом.

— Идите сюда!.. Уля нашла лилию, — сказала Валя, любовно-насмешливо взглянув на подругу.

И в это время снова, как отзвуки дальнего грома, слышались перекаты орудийных выстрелов — оттуда, с северо-запада, из-под Ворошиловграда.

— Опять!

— Опять... — беззвучно повторила Уля, и свет, с такой силой хлынувший из глаз ее, потух.

— Неужто они войдут на этот раз! Боже мой! — сказала Валя. — Помнишь, как в прошлом году переживали? И все обошлось! Но в прошлом году они не подходили так близко. Слышишь, как бухает?

Они помолчали прислушиваясь.

— Когда я слышу это и вижу небо, такое ясное, вижу ветви деревьев, траву под ногами, чувствую, как ее нагрело солнышко, как она вкусно пахнет, — мне делается так больно, словно все это уже ушло от меня навсегда, навсегда, — грудным волнующимся голосом заговорила Уля. — Душа, кажется, так очерствела от этой войны, ты уже приучила ее не допускать в себя ничего, что может размягчить ее, и вдруг прорвется такая любовь, такая жалость ко всему!.. Ты знаешь, я ведь только тебе могу говорить об этом.

Лица их среди листвы сошлись так близко, что дыхание их смешивалось, и они прямо глядели в глаза друг другу. У Вали глаза были светлые, добрые, широко расставленные, они с покорностью и обожанием встречали взгляд подруги. А у Ули глаза были большие, темно-карие, — не глаза, а очи, с длинными ресницами, молочными белками, черными таинственными зрачками, из самой,

казалось, глубины которых снова струился этот влажный сильный свет.

Дальние гулкие раскаты орудийных залпов, даже здесь, в низине у реки, отдававшиеся легким дрожанием листвы, всякий раз беспокойной тенью отражались на лицах девушек. Но все их душевные силы были отданы тому, о чем они говорили.

— Ты помнишь, как хорошо было вчера в степи вечером, помнишь? — понизив голос, спрашивала Уля.

— Помню, — прошептала Валя. — Этот закат. Помнишь?

— Да, да... Ты знаешь, все ругают нашу степь, говорят, она скучная, рыжая, холмы да холмы, будто она неприютная, а я люблю ее. Помню, когда мама еще была здоровая, она работает на баштане, а я, совсем еще маленькая, лежу себе на спине и гляжу высоко, высоко, думаю, ну как высоко я смогу посмотреть в небо, понимаешь, в самую высочину? И мне вчера так больно стало, когда мы смотрели на закат, а потом на этих мокрых лошадей, пушки, повозки, на раненых... Красноармейцы идут такие измученные, запыленные. Я вдруг с такой силой поняла, что это никакая не перегруппировка, а идет страшное, да, именно страшное, отступление. Поэтому они и в глаза боятся смотреть. Ты заметила?

Валя молча кивнула головой.

— Я как посмотрела на степь, где мы столько песен спели, да на этот закат, и еле слезы сдержала. А ты часто видела меня, чтобы я плакала? А помнишь, когда стало темнеть?.. Эти всё идут, идут в сумерках, и все время этот гул, вспышки на горизонте и зарево, — должно быть, в Ровеньках, — и закат такой тяжелый, багровый. Ты знаешь, я ничего не боюсь на свете, я не боюсь никакой борьбы, трудностей, мучений, но если бы знать, как поступить... что-то грозное нависло над нашими душами, — сказала Уля, и мрачный, тусклый огонь позолотил ее очи.

— А ведь как мы хорошо жили, ведь правда, Улечка? — сказала Валя с выступившими на глаза слезами.

— Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели, если бы они только понимали! — сказала Уля. — Но что же делать, что же делать! — совсем другим, детским голоском нараспев сказала она, и в глазах ее заблестело озорное выражение.

Она быстро сбросила туфли, надетые на босу ногу, и, подхватив в узкую загорелую жменю подол темной юбки, смело вошла в воду.

— Девочки, лилия!.. — воскликнула выскочившая из кустов тоненькая и гибкая, как тростинка, девушка с мальчишескими отчаянными глазами. — Нет, чур моя! — взвизгнула она и, резким движением подхватив обеими руками юбку, блеснув смуглыми босыми ногами, прыгнула в воду, обдав и себя и Улю веером янтарных брызг. — Ой, да тут глубоко! — со смехом сказала она, провалившись одной ногой в водоросли и пятясь.

Девушки — их было еще шестеро — с шумным говором высыпали на берег. Все они, как и Уля, и Валя, и только что прыгнувшая в воду тоненькая девушка Саша, были в коротких юбках, в простеньких кофтах. Донецкие каленые ветры и палящее солнце, будто нарочно, чтобы оттенить физическую природу каждой из девушек, у той позолотили, у другой посмуглили, а у иной прокалили, как в огненной купели, руки и ноги, лицо и шею до самых лопаток.

Как все девушки на свете, когда их собирается больше двух, они говорили, не слушая друг друга, так громко, отчаянно, на таких предельно-высоких, визжащих нотах, будто все, что они говорили, было выражением уже самой последней крайности и надо было, чтобы это знал, слышал весь белый свет.

— ...Он с парашютом сиганул, ей-богу! Такой славненький, кучерявенький, беленький, глазки, как пугозички!

— А я б не могла сестрой, право слово, — я крови ужас как боюсь!

— Да неужто ж нас бросят, как ты можешь так говорить! Да быть того не может!

— Ой, какая лилия!

— Майечка, цыганочка, а если бросят?

— Смотри, Сашка-то, Сашка-то!

— Так уж сразу и влюбиться, что ты, что ты!

— Улька, чудик, куда ты полезла?

— Еще утонете, скаженные!..

Они говорили на том характерном для Донбасса смешанном грубоватом наречии, которое образовалось от скрещения языка центральных русских губерний с украинским народным говором, донским казачьим диалектом и разговорной манерой азовских портовых городов — Мариуполя, Таганрога, Ростова-на-Дону. Но как бы ни говорили девушки по всему белу свету, все становится милым в их устах.

— Улечка, и зачем она тебе сдалась, золотко мое? — говорила Валя, беспокойно глядя добрыми, широко расставленными глазами, как уже не только загорелые икры, но и белые круглые колени подруги ушли под воду.

Осторожно нащупывая поросшее водорослями дно одной ногой и выше подобрав подол, так что видны стали края ее черных штанишек, Уля сделала еще шаг и, сильно перегнув высокий стройный стан, свободной рукой подцепила лилию. Одна из тяжелых черных кос с пушистым расплетенным концом опрокинулась в воду и поплыла, но в это мгновение Уля сделала последнее, одними пальцами, усилие и выдернула лилию вместе с длинным-длинным стеблем.

— Молодец, Улька! Своим поступком ты вполне заслужила звание героя союза... Не всего Советского Союза, а скажем, нашего союза неприкаянных девчат с рудника Первомайки! — стоя по икры в воде и тараща на подругу

округлившиеся мальчишеские карие глаза, говорила Саша. — Давай квяток! — И она, зажав между колен юбку, своими ловкими тонкими пальцами вправила лилию в черные, крупно выющиеся по вискам и в косах Улины волосы. — Ой, как идет тебе, аж завидки берут!.. Обожди, — вдруг сказала она, подняв голову и прислушиваясь. — Скребется где-то... Слышите, девочки? Вот проклятый!..

Саша и Уля быстро вылезли на берег.

Все девушки, подняв головы, прислушивались к прерывистому, то тонкому, осиному, то низкому, урчащему, рокоту, стараясь разглядеть самолет в раскаленном добела воздухе.

— Не один, а целых три!

— Где, где? Я ничего не вижу...

— Я тоже не вижу, я по звуку слышу...

Вибрирующие звуки моторов то сливались в одно нависающее грозное гудение, то распадалось на отдельные, пронзительные или низкие, рокошующие звуки. Самолеты гудели уже где-то над самой головой, и, хотя их не было видно, точно черная тень от их крыльев прошла по лицам девушек.

— Должно быть, на Каменск полетели, переправу бомбить...

— Или на Миллерово.

— Скажешь — на Миллерово! Миллерово сдали, разве не слыхала сводку вчера?

— Все одно, бои идут южнее.

— Что же нам делать, девчата? — говорили девушки, снова невольно прислушиваясь к раскатам дальней артиллерийской стрельбы, которая, казалось, приблизилась к ним.

Как ни тяжела и ни страшна война, какие бы жестокие потери и страдания ни несла она людям, юность с ее здоровьем и радостью жизни, с ее наивным добрым эго-

измом, любовью и мечтами о будущем не хочет и не умеет за общей опасностью и страданием видеть опасность и страдание для себя, пока они не нагрянут и не нарушат ее счастливой походки.

Уля Громова, Валя Филатова, Саша Бондарева и все остальные девушки только этой весной окончили школу-десятилетку на руднике Первомайском.

Окончание школы — это немаловажное событие в жизни молодого человека, а окончание школы в дни войны — это событие совсем особенное.

Все прошлое лето, когда началась война, школьники старших классов, мальчики и девочки, как их все еще звали, работали в прилегающих к городу Краснодону колхозах и совхозах, на шахтах, на паровозостроительном заводе в Ворошиловграде, а некоторые ездили даже на Сталинградский тракторный, делавший теперь танки.

Осенью немцы вторглись в Донбасс, заняли Таганрог и Ростов-на-Дону. Из всей Украины одна Ворошиловградская область еще оставалась свободной от немцев, и власть из Киева, отступавшая с частями армии, перешла в Ворошиловград, а областные учреждения Ворошиловграда и Сталино, бывшей Юзовки, расположились теперь в Краснодоне.

До глубокой осени, пока установился фронт на юге, люди из занимаемых немцами районов Донбасса всё шли и шли через Краснодон, меся рыжую грязь по улицам, и казалось, грязи становится все больше и больше оттого, что люди наносят ее со степи на своих чоботах. Школьники совсем было приготовились к эвакуации в Саратовскую область вместе со своей школой, но эвакуацию отменили. Немцы были задержаны далеко за Ворошиловградом, Ростов-на-Дону у немцев отбили, а зимой немцы понесли поражение под Москвой, началось наступление Красной Армии, и люди надеялись, что все еще обойдется.

Школьники привыкли к тому, что в их уютных квартирах, в стандартных каменных, под этернитовыми крышами домиках в Краснодоне, и в хуторских избах Первомайки, и даже в глиняных мазанках на Шанхае — в этих маленьких квартирках, казавшихся в первые недели войны опустевшими оттого, что ушел на фронт отец или брат, — теперь живут, ночуют, меняются чужие люди: работники пришедших учреждений, бойцы и командиры ставших на постой или проходивших на фронт частей Красной Армии.

Они научились распознавать все роды войск, воинские звания, виды оружия, марки мотоциклов, грузовых и легковых машин, своих и трофейных, и с первого взгляда разгадывали типы танков — не только тогда, когда танки тяжело отдыхали где-нибудь сбоку улицы, под прикрытием тополей, в мареве струящегося от брони раскаленного воздуха, а и когда, подобно грому, катились по пыльному ворошиловградскому шоссе и когда буксовали по осенним, расплзшимся, и по зимним, заснеженным, военным шляхам на запад.

Они уже не только по обличью, а и по звуку различали свои и немецкие самолеты, различали их и в пылающем от солнца, и в красном от пыли, и в звездном, и в черном, несущемся вихрем, как сажа в аду, донецком небе.

— Это наши «лаги» (или «миги», или «яки»), — говорили они спокойно.

— Вон «мессера» пошли!..

— Это «Ю-87» пошли на Ростов, — небрежно говорили они.

Они привыкли к ночным дежурствам по отряду ПВХО, дежурствам с противогазом через плечо, на шахтах, на крышах школ, больниц, и уже не содрогались сердцем, когда воздух сотрясаясь от дальней бомбежки и лучи прожекторов, как спицы, скрещивались вдали, в ночном небе над Ворошиловградом, и зарева пожаров вставали то там,

то здесь по горизонту, и когда вражеские пикировщики среди бела дня, внезапно вывернувшись из глубины небес, с воем обрушивали фугаски на тянувшиеся далеко в степи колонны грузовиков, а потом долго еще били из пушек и пулеметов вдоль по шоссе, от которого в обе стороны, как распоротая глиссером вода, разбегались бойцы и кони.

Они полюбили дальний путь на колхозные поля, песни во весь голос на ветру с грузовиков в степи, летнюю страду среди необъятных пшениц, изнемогающих под тяжестью зерна, задушевные разговоры и внезапный смех в ночной тиши, где-нибудь в овсяной полове, и долгие бессонные ночи на крыше, когда горячая ладонь девушки, не шелонувшись, и час, и два, и три покоится в шершавой руке юноши, и утренняя зоря занимается над бледными холмами, и роса блестит на серовато-розовых этернитовых крышах, на красных помидорах и каплет со свернувшихся желтеньких, как цветы мимозы, осенних листочков акаций прямо на землю в палисаднике, и пахнет гниющими в сырой земле корнями отвянувших цветов, дымом дальних пожарищ, и петух кричит так, будто ничего не случилось...

И вот этой весной они окончили школу, простились со своими учителями и организациями, и война, точно она их ждала, глянула им прямо в очи.

23 июня наши войска отошли на Харьковском направлении. 2 июля завязались бои на Белгородском и Волчанском направлениях с перешедшим в наступление противником. А 3 июля, как гром, разразилось сообщение по радио, что нашими войсками после восьмимесячной обороны оставлен город Севастополь.

Старый Оскол, Россошь, Кантемировка, бои западнее Воронежа, бои на подступах к Воронежу, 12 июля — Лисичанск. И вдруг хлынули через Краснодон наши отступающие части.

Лисичанск — это было уже совсем рядом. Лисичанск — это значило, что завтра в Ворошиловград, а послезавтра сюда, в Краснодон и Первомайку, на знакомые до каждой травинки улочки с пыльными жасминами и сиренями, выпирающими из палисадников, в дедов садочек с яблонями и в прохладную, с закрытыми от солнца ставенками, хату, где еще висит на гвозде, направо от дверей, шахтерская куртка отца, как он ее сам повесил, придя с работы, перед тем как идти в военкомат, — в хату, где материнские теплые, в жилочках, руки вымыли до блеска каждую половицу и полили китайскую розу на подоконнике, и набросили на стол пахнущую свежестью сурового полотна цветастую скатерку, — может войти, войдет немец!

В городе так прочно, будто на всю жизнь, обосновались очень положительные, рассудительные, всегда всё знавшие бритые майоры-интенданты, которые с веселыми прибаутками перекидывались с хозяевами в карты, покупали на базаре соленые кавуны, охотно объясняли положение на фронтах и при случае даже не щадили консервов для хозяйского борща. В клубе имени Горького при шахте № 1-бис и в клубе имени Ленина в городском парке всегда крутилось много лейтенантов, любителей потанцевать, веселых и не то обходительных, не то озорных — не поймешь. Лейтенанты то появлялись в городе, то исчезали, но всегда наезжало много новых, и девушки так привыкли к их постоянно меняющимся загорелым мужественным лицам, что все они казались уже одинаково своими.

И вдруг их сразу никого не стало.

На станции Верхнедудуванной, этом мирном полустанке, где, возвращаясь из командировки или поездки к родне, или на летние каникулы после года учения в вузе, каждый красnodонец считал себя уже дома, — на этой Верхнедудуванной и по всем другим станциям железной дороги на Лихую — Морозовскую — Сталинград грудились станки, люди, снаряды, машины, хлеб.

Из окон домиков, затененных акациями, кленочками, тополями, слышался плач детей, женщин. Там мать снаряжала ребенка, уезжавшего с детским домом или школой, там провожали дочь или сына, там муж и отец, покидавший город со своей организацией, прощался с семьей. А в иных домиках с закрытыми наглухо ставнями стояла такая тишина, что еще страшнее материнского плача, — дом или вовсе опустел, или, может быть, одна старуха-мать, проводив всю семью, опустив черные руки, неподвижно сидела в горнице, не в силах уже и плакать, с железною мукою в сердце.

Девушки просыпались утром под звуки дальних орудейных выстрелов, ссорились с родителями, — девушки убеждали родителей уезжать немедленно и оставить их одних, а родители говорили, что жизнь их уже прошла, а вот девушкам-комсомолкам надо уходить от греха и беды, — девушки наскоро завтракали и бежали одна к другой за новостями. И так, сбившись в стайку, как птицы, изнемогая от жары и неприкаянности, они то часами сидели в полутемной горенке у одной из подруг или под яблоней в садочке, то убегали в тенистую лесную балку у речки, в тайном предчувствии несчастья, какое они даже не в силах были охватить ни сердцем, ни разумом.

И вот оно разразилось.

— Ворошиловград уже, поди, сдали, а нам не говорят! — резким голосом сказала маленькая широколицая девушка с остреньким носом, блестящими гладкими, точно приклеенными, волосами и двумя короткими и бойкими, торчащими вперед косицами.

Фамилия этой девушки была Вырикова, а звали ее Зиной, но с самого детства никто в школе не звал ее по имени, а только по фамилии: Вырикова да Вырикова.

— Как ты можешь так рассуждать, Вырикова? Не говорят — значит, еще не сдали, — сказала Майя Пегливанова, природно смуглая, как цыганка, красивая черноокая

девушка, и самолюбиво поджала нижнюю полную свою вольную губку.

В школе, до выпуска этой весной, Майя была секретарем комсомольской организации, привыкла всех поправлять и всех воспитывать, и ей вообще хотелось, чтобы всегда все было правильно.

— Мы давно знаем всё, что ты можешь сказать: «Девочки, вы не знаете диалектики!» — сказала Вырикова, так похоже на Майю, что все девушки засмеялись. — Скажут нам правду, держи карман пошире! Верили, верили и веру потеряли! — говорила Вырикова, посверкивая близко сведенными глазами и, как жучок — рожки, воинственно топыря свои торчащие вперед острые косицы. — Наверно, опять Ростов сдали, нам и тикать некуда. А сами драпают! — сказала Вырикова, видимо, повторяя слова, которые она часто слышала.

— Странно ты рассуждаешь, Вырикова, — стараясь не повышать голоса, говорила Майя. — Как можешь ты так говорить? Ведь ты же комсомолка, ты ведь была пионервожатой!

— Не связывайся ты с ней, — тихо сказала Шура Дубровина, молчаливая девушка постарше других, коротко стриженная по-мужски, безбровая, с диковатыми светлыми глазами, придававшими ее лицу странное выражение.

Шура Дубровина, студентка Харьковского университета, в прошлом году, перед занятием Харькова немцами, бежала в Краснодар к отцу, сапожнику и шорнику. Она была года на четыре старше остальных девушек, но всегда держалась их компании; она была тайно, по-девичьи, влюблена в Майю Пегливанову и всегда и везде ходила за Майей, — «как нитка за иголкой», говорили девушки.

— Не связывайся ты с ней. Коли она уже такой колпак надела, ты ее не переколпачишь, — сказала Шура Дубровина Майе.

— Все лето гоняли окопы рыть, сколько на это сил убили, я так месяц болела, а кто теперь в этих окопах сидит? — не слушая Майи, говорила маленькая Вырикова. — В окопах трава растет! Разве не правда?

Тоненькая Саша с деланным удивлением приподняла острые плечи и, посмотрев на Вырикову округлившимися глазами, протяжно свистнула.

Но, видно, не столько то, что говорила Вырикова, сколько общее состояние неопределенности заставляло девушек с болезненным вниманием прислушиваться к ее словам.

— Нет, в самом деле, ведь положение ужасное? — робко взглядывая то на Вырикову, то на Майю, сказала Тоня Иванихина, самая младшая из девушек, крупная, длинноногая, почти девочка, с крупным носом и толстыми, заправленными за крупные уши прядями темно-каштановых волос. В глазах у нее заблестели слезы.

С той поры как в боях на Харьковском направлении пропала без вести ее любимая старшая сестра Лиля, с начала войны ушедшая на фронт военным фельдшером, все, все на свете казалось Тоне Иванихиной непоправимым и ужасным, и ее унылые глаза всегда были на мокром месте.

И только Уля не принимала участия в разговоре девушек и, казалось, не разделяла их возбуждения. Она расплела замокший в реке конец длинной черной косы, отжала волосы, заплела косу, потом, выставляя на солнце то одну, то другую мокрые ноги, некоторое время постояла так, нагнув голову с этой белой лилией, так шедшей к ее черным глазам и волосам, точно прислушиваясь к самой себе. Когда ноги обсохли, Уля продолговатой ладошкой обтерла подошвы загорелых по высокому суховатому подъему и словно обведенных светлым ободком по низу ступней, обтерла пальцы и пятки и ловким привычным движением сунула ноги в туфли.

— Эх, дура я, дура! И зачем я не пошла в спецшколу, когда мне предлагали? — говорила тоненькая Саша. — Мне предлагали в спецшколу энкаведе, — наивно разъяснила она, поглядывая на всех с мальчишеской беспечностью, — осталась бы я здесь, в тылу у немцев, вы бы даже ничего не знали. Вы бы тут все как раз зажурились, а я себе и в ус не дую. «С чего бы это Сашка такая спокойная?» А я, оказывается, здесь остаюсь от энкаведе! Я бы этими немцами-дурачками, — вдруг фыркнула она, с лукавой издевкой взглянув на Вырикову, — я бы этими немцами-дурачками вертела, как хотела!

Уля подняла голову и серьезно и внимательно посмотрела на Сашу, и что-то чуть дрогнуло у нее в лице, то ли губы, то ли тонкие, с прихлынувшей кровью, причудливого выреза ноздри.

— Я без всякого энкаведе останусь. А что? — сердито выставляя свои рожки-косицы, сказала Вырикова. — Раз никому нет дела до меня, останусь и буду жить, как жила. А что? Я учащаяся, по немецким понятиям, вроде гимназистки: все ж таки они культурные люди, что они мне сделают?

— Вроде гимназистки?! — вдруг вся порозовев, воскликнула Майя.

— Только что из гимназии, здрасте!

И Саша так похоже изобразила Вырикову, что девушки снова рассмеялись.

И в это мгновение тяжелый страшный удар, потрясший землю и воздух, оглушил их. С деревьев посыпались жухлые листки, сучочки, древесная пыль с коры, и даже по воде прошла рябь.

Лица у девушек побледнели, они несколько секунд молча глядели друг на друга.

— Неужто сбросил где-нибудь? — спросила Майя.

— Они ж давно пролетели, а новых не слышать было! — с расширенными глазами сказала Тоня Иванихина, всегда первая чувствующая несчастье.

В этот момент два взрыва, почти слившихся вместе, — один совсем близкий, а другой чуть запоздавший, отдаленный, — потрясли окрестности.

Словно по уговору, не издав ни звука, девушки кинулись к поселку, мелькая в кустах загорелыми икрами.

ГЛАВА 2

Девушки бежали по выжженной солнцем и вытоптанной овцами и козами настолько, что пыль взбивалась из-под ног, донецкой степи. Казалось невероятным, что их только что обнимала свежая лесная зелень. Балка, где протекала река с тянувшейся по ее берегам узкой полосой леса, была так глубока, что, отбежав триста-четырееста шагов, девушки не могли уже видеть ни балки, ни реки, ни леса, — степь поглотила все. Это не была ровная степь, как астраханская или сальская, — она была вся в холмах и балках, а далеко на юге и на севере вздымалась высокими валами по горизонту, этими выходами на поверхность земли крыльев гигантской синклинали, внутри которой, как в голубом блюде, плавал раскаленный добела воздух. То там, то здесь по изборожденному лицу этой выжженной голубой степи, на холмах и в низинах, виднелись рудничные поселки, хутора среди ярко и темно-зеленых и желтых прямоугольников пшеничных, кукурузных, подсолнуховых, свекловичных полей, одинокие копры шахт, а рядом — высокие, выше копров, темно-голубые конусы терриконов, образованных выброшенной из шахт породой. По всем дорогам, связывавшим между собой поселки и рудники, тянулись группы беженцев, стремившихся попасть на дороги на Каменск и на Лихую.

Отзвуки дальнего ожесточенного боя, вернее — многих больших и малых боев, шедших на западе и северо-западе и где-то совсем уже далеко на севере, были явственно слышны здесь, в открытой степи. Дымы дальних пожаров медленно всходили к небу или отдельными кучными облаками лежали то там, то здесь по горизонту.

Девушкам, едва они выбежали из лесной балки, прежде всего бросились в глаза три новых очага дыма — два близких и один дальний — в районе самого города, еще не видного за холмами. Это были серые слабые дымки, медленно рассеивавшиеся в воздухе, и, может быть, девушки даже не обратили бы на них внимания, если бы не эти взрывы и не серный пороховой запах, все более чувствовавшийся по мере того, как девушки приближались к городу.

Они взбежали на круглый холм перед поселком Первомайским, и глазам их открылись и самый поселок, разбросанный по буграм и низинам, и шоссе из Ворошиловграда, пролежавшее здесь по гребню длинного холма, отделявшего поселок от города Краснодона. По всему видному отсюда протяжению шоссе густо шли воинские части и беженцы и, обгоняя их, неистово ревя клаксонами, мчались машины — обыкновенные, гражданские, и военные, раскрашенные под зелень, побитые и пыльные, машины грузовые, легковые, санитарные. И рыжая пыль, вновь и вновь взбиваемая этим множеством ног и колес, витым валом стояла в воздухе на всем протяжении шоссе.

И тут случилось невозможное, непостижимое: железобетонный копер шахты № 1-бис, могучий корпус которого один из всех городских строений виден был по ту сторону шоссе, вдруг пошатнулся. Толстый веер взметенной ввысь породы на мгновение закрыл его, и новый страшный подземный удар, гулом раскатившийся по воздуху и где-то под ногами, заставил девушек содрогнуться. А когда все рассеялось, никакого копра уже не было. Темный, поблескивающий на солнце конус гигантского террикона непод-

вижно стоял на своем месте, а на месте копра клубами вздымался грязный желто-серый дым. И над шоссе, и над взбаламученным поселком Первомайским, и над не видимым отсюда городом, над всем окружающим миром стоял какой-то слитный протяжный звук, точно стон, в котором чуть всплескивали далекие человеческие голоса, — то ли они плакали, то ли проклинали, то ли стонали от муки.

Все это: и шоссе с бегущими людьми и машинами, и этот взрыв, потрясший небо и землю, и исчезновение копра, и стон людей, — все это одним мгновенным, слитным и страшным впечатлением обрушилось на девушек. И все чувства, стеснившиеся в их душах, вдруг пронизало одно невыразимое чувство, более глубокое и сильное, чем ужас за себя, — чувство разверзшейся перед ними бездны конца, конца всему.

— Шахты рвут!.. Девочки!..

Чей это был вопль? Кажется, Тони Иванихиной, но он точно вырвался из души каждой из них:

— Шахты рвут!.. Девочки!..

Они больше ничего не сказали, не успели, не смогли сказать друг другу. Группа их сама собой распалась: большинство девушек побежало в поселок, по домам, а Майя, Уля и Саша побежали ближней тропинкой через шоссе в город, в райком комсомола.

Но в ту самую секунду, как они, не сговариваясь, распались на две группы, Валя Филатова вдруг схватила любимую подружку за руку.

— Улечка! — сказала она робким, униженным, просящим голосом. — Улечка! Куда ты? Идем домой... — Она запнулась. — Еще что случится...

А Уля круто, всем корпусом обернулась к ней и молча взглянула на нее, — нет, даже не на нее, а как бы сквозь нее, в далекую-далекую даль, и в черных глазах ее было такое стремительное выражение, будто она летела, — должно быть, такое выражение глаз бывает у летящей птицы.

— Обожди, Улечка... — сказала Валя умоляющим голосом и притянула ее за руку, а другой, свободной рукой быстро вынула лилию из черных вьющихся волос Ули и бросила на землю. Все это произошло так быстро, что Уля не только не успела подумать, зачем Валя сделала это, но просто не заметила этого. И вот они, не отдавая в том отчета, за все время их многолетней дружбы впервые побежали в разные стороны.

Да, трудно было поверить, что все это правда, но когда три девушки во главе с Майей Пегливановой пересекли шоссе, они убедились в этом своими глазами: рядом с гигантским конусовидным терриконом шахты № 1-бис уже не было стройного красавца-копра со всеми его могучими подъемными приспособлениями, только желто-серый дым всходил клубами к небу, наполняя все вокруг невыносимым серным запахом.

Новые взрывы, то более близкие, то отдаленные, потрясали землю и воздух.

По всем кварталам города, примыкавшим к шахте № 1-бис и отделенным от центра города глубокой балкой с протекающим по дну ее грязным, заросшим осокой ручьем и сплошь застроенной глинобитными, лепящимися друг к другу мазанками, — по всем этим кварталам, как вихрь, гуляла паника. Этот район, если не считать балки, был, как и центр городка, застроен одноэтажными каменными домиками, рассчитанными на две-три семьи. Домики крыты были черепицей или этернитом, перед каждым был разбит палисадник, частью возделанный под огород, частью засаженный цветами. Иные хозяева развели уже вишни, или сирень, или жасмин, иные высадили рядом, внутри, перед аккуратным крашеным заборчиком, молодые акации, кленочки. И вот на улицах среди этих аккуратных домиков и палисадников творилось такое, что наполнило души девушек необоримым смятением.

Люди бежали к шахте, но там, видно, стояла цепь милиционеров и не пускала, и навстречу катился другой поток людей, — бежавших от шахты, — в который вливались с улиц, со стороны рынка, разбегавшиеся с базара женщины-колхозницы, старики, подростки с корзинами и тачками с зеленью и снедью, повозки, запряженные лошадьми, и возы, запряженные волами, с хлебом и овощами, женщины-покупательницы со своими корзинками и сетками, прозванными досужими людьми «авоськами».

Все население высыпало из своих домиков в палисадники, на улицы, — одни из любопытства, другие выбрались вовсе целыми семьями, с узлами и мешками, с тачками, груженными семейным добром, где среди узлов сидели малые дети: иные женщины несли на руках младенцев. И эти уходившие на восток семьи образовали третий поток, стремившийся выбиться на дороги на Каменск и на Лихую.

Все это кричало, ругалось, плакало, тархтело, звенело. Тут же, продираясь сквозь месиво людей и возов, ползли грузовики с военным или гражданским имуществом, рыча моторами, издавая истошные гудки. Люди пытались забраться на грузовики, — их сталкивали. Все это вместе и производило тот странный слитный протяжный звук, издали показавшийся девушкам стоном.

Женщина в толпе перехватила Майю за руку, и Саша Бондарева тоже остановилась возле них, а Уля, уже не заботившаяся о подругах, стремившаяся как можно скорее попасть в райком, бежала дальше по улице, грудью налетая на встречных, как птица.

Зеленый грузовик, с ревом выползший из-за поворота, из-за балки, откинул Улю вместе с толпой к палисаднику одного из стандартных домиков. Если бы не калитка, Уля сбила бы с ног небольшого роста, белокурую, очень изящно сложенную, как выточенную, девушку со вздернутым носиком и прищуренными голубыми глазами, стоявшую

у самой калитки, между двух свисавших над ней пыльных кустов сирени.

Как ни странно это было в такой момент, но, налетев на калитку и едва не сбив эту девушку, Уля в каком-то мгновенном озарении увидела эту девушку кружащейся в вальсе. Уля услышала даже музыку вальса, исполняемую духовым оркестром, и это видение вдруг больно и сладко пронзило сердце Ули, как видение счастья.

Девушка кружилась на сцене и пела, кружилась в зале и пела, она кружилась до утра со всеми без разбора, она никогда не уставала и никому не отказывала покружиться с ней, и ее глаза — голубые ли они, синие ли, — ее маленькие ровные белые зубы сверкали от счастья. Когда это было? Это было, должно быть, перед войной, это было в той жизни, это было во сне.

Уля не знала фамилии этой девушки, все звали ее Люба, а еще чаще — Любка. Да, это была Любка, «Любка-артистка», как иногда называли ее мальчишки.

Самое поразительное было то, что во всей этой сумятице Любка стояла за калиткой среди кустов сирени совершенно спокойная и одетая так, точно она собирается идти в клуб. Ее розовое личико, которое она всегда оберегала от солнца, и аккуратные подвитые и уложенные валом золотистые волосы, маленькие, словно выточенные из слоновой кости руки с блестящими ноготками, будто она только что сделала маникюр, и маленькие стройные полные ножки, обутые в легкие кремовые туфельки на высоких каблуках, — все это было такое, точно Любка вот сейчас выйдет на сцену и начнет кружиться и петь перед всеми этими людьми, потными, с лицами, искаженными от страха.

Но еще больше поразило Улю то необыкновенно задиристое и в то же время очень простодушное и умное выражение, которое было в ее розовом, с чуть вздернутым носиком лице, в полных губах немного большого для ее

лица, румяного рта, а главное — в этих прищуренных голубых, необыкновенно живых глазах.

Она, как к чему-то совершенно естественному, отнеслась к тому, что Уля едва не выломала перед ней калитку, и, не взглянув на Улю, продолжала спокойно и дерзко смотреть на все, что происходило на улице, и кричала черт знает что:

— Балда! Ты что ж людей давишь?.. Видать, сильно у тебя ослабила гайка, коли ты людей не можешь переждать, детишек давишь! Куда? Куда?.. Ах ты, балда — новый год! — задрав носик и посверкивая голубыми в пушистых ресницах глазами, кричала она водителю грузовика. Водитель, как раз для того, чтобы люди схлынули, застопорил машину напротив калитки.

Грузовик был полон имущества милиции и — милиционеров, в количестве значительно большем, чем требовалось бы для охраны имущества.

— Вон вас сколько поналазило, блюстители! — словно обрадовавшись этому новому поводу, закричала Любка. — Нет того, чтобы народ успокоить, сами — фьюить!.. — И она сделала неповторимое движение своей маленькой ручкой и свистнула, как мальчишка. — Ряжки вон какие наели!..

— И чего звонит, дура! — огрызнулся с грузовика какой-то милицкий начальник, сержант.

Но, видно, он сделал это на беду себе.

— А, товарищ Драпкин! — издевательски приветствовала его Любка. — Откуда это ты выискался, красный витязь? Тебя, небось, советская власть поставила порядок наводить, а ты залез в машину и кричишь на всю улицу, как попка-дурак...

— Молчи, пока глотку не заткнули! — вспыхнул вдруг «красный витязь», сделав движение, будто хочет выпрыгнуть.

— Да ты не выпрыгнешь, побоишься отстать! — не повышая голоса и нисколько не сердясь, издевалась Любка. — Ты, небось, ждешь не дождешься, пока за город выедешь, тогда, небось, все свои значки да кантики по-обрываешь, чтобы никто в тебе не признал советского милиционера... Счастливого пути, товарищ Драпкин! — так напутствовала она побагровевшего от ярости, но действительно так и не выпрыгнувшего из тронувшейся машины милицейского начальника.

Человек со стороны, слыша такие ее высказывания, при этой ее внешности и при том, что она спокойно оставалась на месте, когда все вокруг бежало, мог бы принять ее за злейшую «контру», поджидающую немцев и издевающуюся над несчастьем советских людей, если бы не это простодушное детское выражение в ее голубых глазах и если бы ее реплики не были направлены только тем людям, которые их действительно заслужили.

— Эй ты, в шляпе! Гляди-ка, сколько на жинку навалил, а сам пустой идешь! — кричала она. — Жинка у тебя вон какая маленькая. Еще шляпу надел!.. Горе мне с тобой!.. Ты что, бабушка, под шумок колхозные огурцы ешь? — кричала она старухе на возу. — Думаешь, советская власть уходит, так уже тебе и не отчитаться ни перед кем? А бог на небе? Он, думаешь, не видит? Он все видит!..

Никто не обращал на ее реплики внимания, и она не могла не видеть этого, — похоже было, что она восстанавливает справедливость для собственного развлечения. Ее бесстрашие и спокойствие так понравились Уле, что Уля почувствовала мгновенное доверие к этой девушке и обратилась прямо к ней.

— Люба, я комсомолка с Первомайки, Ульяна Громова. Скажи мне, почему такая паника?

— Обыкновенная паника, — охотно сказала Любка, дружелюбно обратив свои голубые сияющие и дерзкие глаза на Улю. — Наши оставили Ворошиловград, оставили

еще на заре. Получен приказ немедленно эвакуироваться всем организациям...

— А райком комсомола? — упавшим голосом спросила Уля.

— Ты что, пентюх облезлый, девчонку бьешь? У, злыдень! Вот выйду, напощадам тебе! — тоненьким голоском завопила Любка какому-то мальчишке в толпе. — Райком комсомола? — переспросила она. — Райком комсомола, он, как и полагается, в авангарде, он еще на заре выехал... Ну что ты, девушка, глаза вылупила? — сердито сказала она Уле. Но вдруг взглянула на Улю и, поняв, что происходило в ее душе, улыбнулась: — Я шутю, шутю... Ясно, приказали ему, вот он и выехал, не сбежал. Ясно тебе?

— А как же мы? — вдруг вся переполняясь мстительным чувством, гневно спросила Уля.

— А ты, стало быть, тоже уезжай. Команда такая еще с утра дана. Где ж ты была с утра?

— А ты? — в упор спросила Уля.

— Я?.. — Люба помолчала, и умное лицо ее вдруг приняло постороннее, безразличное выражение. — А я еще посмотрю, — сказала она уклончиво.

— А ты разве не комсомолка? — настойчиво спрашивала Уля, и ее большие черные глаза с сильным и гневным выражением на мгновение встретились с прищуренными, настороженными глазами Любки.

— Нет, — сказала Любка, чуть поджав губы, и отвернулась. — Папка! — вскрикнула она и, распахнув калитку, побежала на своих высоких каблучках навстречу группе людей, которые, заметно выделяясь среди толпы, испуганно и с каким-то неожиданным почтением расступавшейся перед ними, шли сюда, к дому.

Впереди шли директор шахты № 1-бис, Валько, плотный, бритый мужчина лет пятидесяти, в пиджаке и сапогах, с лицом мрачным и черным, как у цыгана, и известный всему городу знатный забойщик той же шахты Григорий

Ильич Шевцов. За ними шло еще несколько шахтеров и двое военных. А позади, на некотором расстоянии, катилась сборная, из разных людей, толпа любопытных: даже в самые необычные и тяжелые моменты жизни среди людей находится известное число просто любопытных.

Григорий Ильич и другие шахтеры были в спецовках с откинутыми башлыками. Их одежда, лица, руки были все в угле. Один из них нес через плечо тяжелый моток электрического кабеля, другой — ящик с инструментами, а в руках у Шевцова был какой-то странный металлический аппарат с торчащими из него концами обнаженного провода, похожий не то на радиоприемник, не то на телеграфный передатчик. Они шли молча и точно боясь встретиться глазами с кем-либо из толпы и друг с другом. Пот, оставляя борозды, катился по их измазанному углем лицам. И лица их были такие измученные, точно эти люди несли на себе непомерную тяжесть. И Уля вдруг поняла, почему, несмотря на такую сумятицу, все люди на улице загодя испуганно расступались перед ними, — вся дорога была перед ними свободна. Это были люди, которые собственными руками взорвали шахту № 1-бис — гордость Донецкого бассейна.

Любка подбежала к Григорию Ильичу, взяла его за темную жилистую руку своей маленькой белой ручкой, которую он сразу крепко сжал, и пошла рядом с ним. «Шевцова дочка?» — недоумевала Уля.

В это время шахтеры во главе с директором шахты Валько и Шевцовым подошли к калитке и с явным облегчением сбросили через заборчик в палисадник, прямо на цветы, предметы, которые они несли, — моток кабеля, ящик с инструментами и этот странный металлический аппарат. И стало ясно, что все эти цветы, высаженные с такой любовью, как и вся та жизнь, при которой возможны были и эти цветы, и многое другое, — все это было уже кончено.

Люди сбросили все эти предметы и некоторое время постояли, не глядя друг на друга, в какой-то неловкости.

— Ну что ж, Григорий Ильич, собирайся швидче, машина на мази, людей посажу и всем гамузом за тобой, — сказал Валько, не подымая на Шевцова глаз из-под своих широких и сросшихся, как у цыгана, бровей.

И он в сопровождении шахтеров и военных медленно пошел дальше по улице.

У калитки остались Григорий Ильич с дочкой, которую он по-прежнему держал за руку, и старик-шахтер с прокуранными до желтизны, редкими, точно выщипанными усами и бородкой, до крайности высохший и голенастый. И Уля, на которую они не обращали внимания, тоже стояла рядом, словно решение вопроса, который ее мучил, она могла получить только здесь. Люди в толпе, сшибаясь, бранясь и плача, по-прежнему шли по всем направлениям, и никого уже не было из тех, кого могли бы заинтересовать эти стоящие у калитки двое мужчин и две девушки.

— Любовь Григорьевна, кому сказано? — сердито сказал Григорий Ильич, взглянув на дочь, не отпуская, однако, ее руки.

— Сказала, не поеду, — угрюмо отозвалась Любка.

— Не дури, не дури, — явно волнуясь, тихо сказал Григорий Ильич. — Как можешь ты не ехать? Комсомолка...

Любка, вспыхнув, вскинула глаза на Улю, но в лице ее тотчас появилось строптивное, даже нахальное выражение.

— Комсомолка без году неделя, — сказала она, поджав губы. — Кому я что сделала? И мне ничего не сделают... Мне мать жалко, — добавила она тихо.

«Отреклась от комсомола!» — вдруг с ужасом подумала Уля. Но в то же мгновение мысль о собственной больной матери жаром отозвалась в груди ее.

— Ну, Григорий Ильич, — таким страшным низким голосом, что удивительно было, как он выходил из такого высохшего тела, сказал старик, — пришло время нам

расставаться... Прощай... — и он прямо посмотрел в лицо Григорию Ильичу, стоявшему перед ним со склоненной головой.

Григорий Ильич молча стащил с головы кепку. У него были светло-русые волосы и худое, с глубокими продольными бороздами, лицо пожилого русского мастерового, с голубыми глазами. Хотя он был уже не молод и одет был в эту неуклюжую спецовку и лицо, и руки его были в угле, чувствовалось, что он хорошо сложен и крепок, и красив старинной русской красотой.

— А может, рисканешь с нами? А? Кондратович? — спросил он, не глядя на старика и явно конфузясь.

— Куда же нас со старухой? Пушай уж нас наши дети с Красной Армией вызволяют.

— А старший твой что ж? — спросил Григорий Ильич.

— Старший? О нем что ж и говорить, — сумрачно сказал старик и махнул рукой с таким выражением, как будто хотел сказать: «Ведь ты и сам знаешь мой позор, зачем же спрашиваешь?» — Прощай, Григорий Ильич, — печально сказал он и протянул Шевцову высохшую, когтистую руку.

Григорий Ильич подал свою. Но что-то было еще недосказано ими, и они, держа друг друга за руку, еще постояли некоторое время.

— Да... что ж... Моя старуха и, вишь, дочка тоже остаются, — медленно говорил Григорий Ильич. Голос его вдруг пресекся. — Как это мы ее, Кондратович? А?.. Красавицу нашу.. Всей, можно сказать, страны кормилицу.. Ах!.. — вдруг необыкновенно тихо выдохнул он из самой глубины души, и слезы, сверкающие и острые, как кристаллы, выпали на его измазанное углем лицо.

Старик, хрипло всхлипнув, низко наклонил голову. И Любка заплакала навзрыд.

Уля, кусая губы, не в силах удержать душившие ее слезы бессильной ярости, побежала домой, на Первомайку.

ГЛАВА 3

Поселок Первомайский был самым старым шахтерским поселком в этом районе, — от него, собственно, и начался город Краснодон. Первомайским, или, в просторечии Первомайкой, он стал называться с недавнего времени. В прежние времена, когда уголь в этих местах еще не был обнаружен, здесь расположены были казачьи хутора, самым крупным из которых считался хутор Сорокин.

Уголь открыли здесь в начале века. Первые шахтенки, закладывавшиеся по пласту, были наклонные и такие маленькие, что уголь подымали конными или даже ручными воротками. Шахтенки принадлежали разным хозяевам, но по старой памяти весь рудник называли — рудник Сорокин.

Шахтеры, выходцы из центральных русских губерний и с Украины, селились по хуторам у казаков, рождались с ними, да и сами казаки уже работали на шахтах. Семьи разрастались, делились, строились рядом.

Закладывались новые шахты — за длинным холмом, по которому протекает теперь ворошиловградское шоссе, и дальше за балкой, что разделяет теперь город Краснодон на две неравные части. Эти новые шахты принадлежали одинокому помещику Ярманкину, или «бешеному барину», поэтому и новый поселок, возникший вокруг шахт, первое время назывался в просторечии поселок Ярманкин или «Бешеный». Дом самого «бешеного барина» — каменный серый одноэтажный дом, в одной половине которого был разбит зимний сад с диковинными растениями и заморскими птицами, в те времена один стоял на высоком холме за балкой, открытый всем ветрам, и его тоже называли «бешеным». Уже при советской власти, в годы первой и второй пятилеток, в этом районе были заложены новые шахты, и центр рудника Сорокина переместился

в ту сторону, застроился стандартными домиками, крупными зданиями учреждений, больниц, школ, клубов. На холме, рядом с домом «бешеного барина», выросло красивое, с крыльями, с высаженными перед главным подъездом молодыми деревцами, здание районного исполкома. А в самом доме «бешеного барина» разместилась проектная контора треста «Краснодонуголь», служащие которой уже и понятия не имели, что это за дом такой, где они проводят третью часть своей жизни. Так рудник Сорокин превратился в город Краснодон.

Уля, ее подруги и товарищи по школе росли вместе со своим городом. Совсем еще маленькими школьницами и школьниками в праздник древонасаждения они участвовали в посадке деревьев и кустов на заваленном мусорными кучами и заросшем лопухами пустыре, отведенном городским советом под парк. Мысль о том, что здесь должен быть парк, возникла среди старых комсомольцев — тех еще поколений, что помнили «бешеного барина», поселок Ярманкин, первую немецкую оккупацию и гражданскую войну. Некоторые из них и сейчас работали в Краснодоне, — у иных уже седина пробрызнула в волосах или в казацком буденновском усе, — но в большинстве жизнь разбросала их по всей нашей земле, а кое-кто полез высоко в гору. А руководил той посадкой садовник Данилыч, он и тогда уже был старый. Но он и теперь работал в парке старшим садовником, хотя стал уже совсем ветхим. И вот он разросся, этот парк, и стал любимым местом отдыха для взрослых, а для молодежи он был даже не местом, а самой жизнью в пору ее юного цветения, он рос вместе с ними, он был юн, как они, но его зеленые кроны уже шумели на ветру, и в солнечные дни там уже было тенисто и можно было найти таинственные укромные уголки, а ночью, под луной, он был прекрасен, а в дождливые осенние ночи, когда опадал мокрый желтый лист, вясь и шурша во тьме, там было даже страшно, в этом парке. Так росла мо-

лодежь вместе со своим парком, вместе со своим городом и по-своему крестила его районы, слободки, улицы.

Отстроят новые бараки, — это место так и назовут: «Новые бараки». Уже и бараков никаких нет, уже каменные дома вокруг, но название переживает то, что его породило. До сих пор существует окраина «Голубятники». Когда-то это были три деревянные хибарки на отлете и мальчишки водили там голубей, теперь там тоже стандартные дома. «Чурилино» — это и вовсе был один домик, где жил шахтер Чурилин. «Сеняки» — там был раньше сенной двор. «Деревянная» — это совсем отдельная улица за переездом, за парком, она так и осталась отдельной от всего города, и домики остались те же, деревянные, и там живет девушка Валя Борц с темно-серыми глазами и русыми золотистыми косами, самолюбивая девушка, не старше семнадцати лет. «Каменная» — это улица первых стандартных каменных домов. Теперь таких домов много, но только эту улицу называют «Каменной»: она была первой. А «Восьмидомики» — это уже целый район, несколько улиц на том месте, где стояло всего восемь таких стандартных домиков.

Со всех концов нашей земли стекаются люди в Донбасс. И первый вопрос у них: где жить? Китаец Ли Фанча слепил себе на пустыре жилье из глины и соломы, а потом стал лепить комнатки, одну к другой, как соты, и сдавать их внаем, пока пришлые люди не поняли, что незачем снимать комнатки у Ли Фанчи, можно слепить свои. Так образовался обширный район лепящихся друг к другу мазанок, — этот район называли Шанхаем. Потом такие же мазанки-соты возникли вдоль всей балки, разделяющей город, и на пустырях вокруг города, и эти гнезда мазанок стали называть «шанхайчиками».

С той поры как была пущена в ход самая крупная в районе шахта № 1-бис, заложенная как раз между хутором Сорокиным и бывшим поселком Ярманкиным, город

Краснодон снова стал разрастаться в сторону хутора Сорокина и почти слился с ним. Так хутор Сорокин, давно уже сросшийся с соседними более мелкими хуторами, превратился в поселок Первомайский — один из районов города.

От других районов города его отличало только то, что здесь большинство жилых домиков осталось от прежних казачьих хуторов, — это были собственные домики, каждый на свой манер, и среди населения здесь по-прежнему было много казаков, работавших не на шахтах, а на степи, сеявших хлеб и объединившихся в несколько колхозов.

Едва Уля вышла на ворошиловградское шоссе, по которому в направлении на восток по прежнему двигался почти сплошной поток воинских частей, машин, беженцев, как почти над самой головой, ревя моторами, один за другим прошли три немецких пикировщика. Толпа бойцов и беженцев, раздвоившись, хлынула в обе стороны шоссе, — кто бросился ничком в канаву, кто привалился к завалинке дома или прижался к стенке.

Уля, которую едва не сшибли с ног, мрачно проводила глазами этих раскрашенных птиц, с черной свастикой на распластанных крыльях, — летевших так низко, что казалось, они обдали ее ветром. Пикировщики уже где-то за городом дали несколько коротких пулеметных очередей по шоссе и скрылись в режущем глаза от солнечного блеска воздухе. И только через несколько минут послышались вдали глухие взрывы, — должно быть, пикировщики бомбили переправу на Донце.

В поселке Первомайском все ходуном ходило. Навстречу Уле неслись подводы, бежали целые семьи. Она знала всех этих людей, как и они знали ее, но никто не смотрел на нее, не заговаривал с ней.

И самым неожиданным впечатлением было впечатление от Зинаиды Выриковой, «гимназистки», которая с невообразимо испуганным лицом сидела среди двух женщин на возу, заваленном ящиками, узлами, кулями

с мукой. Какой-то дед в картузе, свесив набок белые сапоги в муке, концами вожжей изо всей силы хлестал клячонку, тщетно пытаясь поднять ее в гору на галоп. Несмотря на неимоверную жару, Вырикова была в драповом коричневом пальто, но без платка и шляпки, и поверх драпового жесткого воротника по-прежнему воинственно торчали вперед ее косицы.

Домик родителей Ули Громовой был расположен в низине, на дальней окраине поселка, — раньше это был хутор Гаврилов, и домик этот был старым казачьим домиком.

Отец Ульяны, Матвей Максимович Громов, был родом украинец, из Полтавской губернии, и с малых лет ходил с отцом на заработки в Юзовку. Был он рослым, сильным, красивым и отважным парнем с ниспадающими русыми кудрями, кольцами завивавшимися понизу, славился как силач-забойщик, и его любили девушки. И не было ничего унижительного в том, что, попав в эти края на заработки в те самые, казавшиеся Уле библейскими, времена, когда здесь открылись первые шахтенки, он пленил Матрену Савельевну, бывшую тогда еще маленькой черноглазой казачкой Матрешей с хутора Гаврилова.

В русско-японскую войну он служил в 8-м Московском гренадерском полку, шесть раз был ранен, два раза тяжело, имел много наград, и последнюю — за спасение знамени своего гренадерского полка — Святого Георгия.

С той поры здоровье его сдало. Некоторое время он еще работал на малых шахтенках, а потом стал служить при шахте кучером, да так и осел здесь, на хуторе Гаврилове, после бродячей своей жизни, в домике, доставшемся Матреше в приданое.

Едва Уля взялась за калитку родного дома, силы оставили ее. Уля любила мать и отца, и, как это бывает в юности, она не то что не думала, а не могла представить себе, что в самом деле придет такая минута жизни, когда надо

будет самостоятельно решать свою судьбу отдельно от семьи. И вот эта минута пришла.

Уля знала, что ее мать и отец слишком привязаны к своему дому и слишком стары и больны, чтобы решиться на уход из дому. Сын был в армии, а Уля была девушка без определившегося пути в жизни, человек без должности, и не могла взять их на свое попечение. А у другой дочери, много старше Ули, бывшей замужем за служащим шахтоуправления, человеком уже пожилым, жившим в их семье, — у этой старшей дочери были свои дети, и она тоже не решалась на уход из дому. И все они уже давно решили, что бы ни случилось, никуда не уходить с родного места.

Одна Уля до этой вот крайней минуты не имела ни ясного плана, ни твердой цели в душе своей. Ей все казалось, что ею должны распорядиться другие. То ей хотелось уйти в армию, обязательно в авиацию, и она писала письма брату, который служил техником в одной из авиационных частей, не поможет ли он ей поступить в летную школу. Иногда ей казалось, что проще всего было бы пойти на курсы медицинских сестер, как сделали некоторые из краснодонских девушек, — таким путем она могла бы очень скоро попасть в действующую армию. То ее преследовала тайная мечта уйти в партизанское подполье, в места, занятые врагом. То вдруг ею овладевала такая жажда учиться, учиться дальше! Ведь война не вечна, вот кончится она, надо будет жить, трудиться, и как еще нужны будут люди, знающие дело, — она ведь очень скоро может стать инженером или учителем. Но так никто и не распорядился ее судьбой, и вот подошло время, когда она должна открыть калитку и...

Тут только она почувствовала, как страшно может обернуться жизнь. Она должна бросить мать, отца врагу на поругание и одна ринуться в этот неизвестный и страшный мир лишений, скитаний, борьбы... Она почувствовала такую слабость в коленях, что едва не опустилась на зем-

лю. Ах, если бы она могла залезть сейчас в эту маленькую обжитую хатку, закрыть ставни, упасть в свою девичью постель и так вот лежать тихо-тихо и ничего не решать. Кому какое дело до черненькой девочки Ули! Вот так вот забраться в постель, поджать ноги и жить среди близких, любящих людей — будь что будет... Да и что оно будет, и когда оно будет, и долго ли оно будет? А может быть, это не так уж страшно?

Но в то же мгновение она содрогнулась от унижения гордости, унижения от самой возможности допустить такой выход. Да уже и не было времени выбирать: к ней уже бежала мать навстречу. Какая сила подняла ее с постели? За матерью шли отец, сестра, муж сестры, бежали ребята-тишки. Печать необыкновенного волнения лежала на всех лицах, а маленький племянник плакал.

— Куда ж ты запропала, доню моя? Тебя же с самой зари найти не могут. Беги скорей до Анатолия, коли он не уехал, беги, доню! — говорила мать, и слезы, которых она даже не пыталась убрать, катились по ее загорелым бледным морщинистым щекам.

Мать все еще была чернява, хотя и стара и начала гнуть-ся к земле. Она была чернява, и черные глаза у нее были красивые, как у большой дикой птицы, хотя сама она была маленькая. И характером она была сильная и умная, — дочери и старый Матвей Максимович слушались ее. Но вот пришел час, когда дочь сама должна была решить за себя, и силы матери надломились.

— Кто искал? Анатолий? — быстро спросила Уля.

— Та с райкому шукали, — стоя позади матери с тяжело опущенными большими руками, говорил отец.

Как он был уже стар! Спереди он почти совсем облысел, только на затылке да на висках еще остались следы былых кудрей, они все еще завивались кольчиками, но в гренадерских рыжеватых усах его было уже столько седины, и щетина на лице была седоватая, и нос совсем

сизый, и кирпичного цвета лицо его, лицо солдата, было все в морщинах.

— Беги, беги, доню! — повторяла мать. — Обожди, я Анатолия скличу! — И она, маленькая, старая, побежала между грядок к соседям Поповым, сын которых Анатолий вместе с Улей окончил в этом году первомайскую школу.

— Да ложитесь же вы, мама, я сама!

Уля бросилась за матерью, но та уже бежала вишенником вниз, и они побежали вместе, старая и молодая.

Усадьбы Громовых и Поповых граничили садами, полого спускавшимися в пересохшую балочку, по самому дну которой пролежала граница — плетень. Но хотя они всю жизнь были соседями, Уля никогда не видалась с Анатолием помимо школы да комсомольских собраний, где он часто выступал с докладами. В детстве у него были свои мальчишеские интересы, а в старших классах над ним подтрунивали, будто он боится девочек. И правда, когда он встречался с Улей, да и не только с Улей, где-нибудь на улице или на квартире, он так терялся, что даже не успевал поздороваться, а если здоровался, краснел так, что любую девочку вгонял в краску. Об этом девочки иногда говорили между собой и подсмеивались над Анатолием. Но все-таки Уля уважала его, он был такой начитанный, умный, замкнутый, любил те же стихи, что и Уля, собирал жуков и бабочек, минералы и гербарии.

— Таисья Прокофьевна! Таисья Прокофьевна! — кричала мать, перегнувшись через низенький плетень в садик соседей. — Толечка! Уля пришла...

Где-то на той стороневерху, не видная за деревьями, отозвалась тоненьким голоском сестренка Анатолия. И вот он уже сам бежал среди деревьев, усеянных маленькими поспевающими вишенками, — в украинской, вышитой по подолу и концам рукавов, рубашке с расстегнутым воротом и в узбекской шапочке на затылке, которую он носил, чтобы не рассыпались его зачесанные назад длин-